

Для Ады и Тома:

«Мой солнечный свет! Моя весна!»

Профессия критика, на самом деле,
жестока по своей природе и требует
для своего эффективного выполнения
такой бесчеловечной личности, как я.

Джордж Бернард Шоу

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ЗАНАВЕСА

ПРИТВОРИТЬСЯ МЕРТВЫМ

Мне семь лет. Я в темноте. На мне синее бархатное платье и черные туфли с пряжками. Я неподвижно сижу в кресле, слишком большом для меня. Я наблюдаю.

Передо мной один мужчина бросается на другого с ножом. На белой рубашке появляется кровь, пятно раскрывается, как цветок, жертва падает на колени, а затем расплывается на полу. Соперник стоит над поверженным, его губы растягиваются в тонкую жестокую линию. Затем он обращает эту улыбку ко мне.

Я не могу сглотнуть. Не могу дышать. Мои кулаки сжимают подлокотники, костяшки пальцев побелели.

— Не волнуйся, — нежно произносит моя мама. — Он не умер. Видишь, он дышит. Посмотри на его живот: поднимается и опускается. Видишь? Это не по-настоящему. Это всего лишь спектакль. Но ты настоящая. — Она осторожно разгибает одну мою ладонь и накрывает ее своей, шепча литанию, как делала много раз раньше. Ее голова так близко к моей, что ее губы касаются моего уха. — Это твои пальцы, — говорит она. — Это твоя рука, твоя ладонь, твое запястье, твоя рука...

Но на этот раз я ее не слышу. Или не могу услышать. Вместо этого я смотрю на рубашку, кровь, нож, улыбку... Я отчетливо сознаю, что дальше этот мужчина пойдет

АЛЕКСИС СОЛОСКИ

за мной. Пытаюсь встать. Хочу сбежать. Но падаю обратно в свое слишком большое кресло.

Я теряю сознание.

* * *

Занавес падает. Занавес поднимается. Второй акт, двадцать пять лет спустя. Моя мать умерла, и теперь я очень часто сижу в темноте. Смотрю поножовщины, расстрелы, удушения. Худшее, что только можно представить.

— У смерти, — говорит герцогиня Мальфи в пьесе, которую я обожаю, — тысячи различных дверей, через которые мы уходим из жизни... — Я ей верю. Я веду счет.

Наблюдая, я сглатываю. Я дышу. Мои легкие наполняются и опустошаются, живот поднимается и опускается. Размер кресла теперь подходит мне больше. Я не ношу бархатные платья и черные туфли с пряжками. И, конечно, не падаю в обморок.

Вместо этого я сижу здесь, в темноте, и бесшумно вожу ручкой по строкам блокнота. Я научилась перелистывать страницы с минимальным шорохом. Я научилась писать без света.

Я внимательна. Проницательна. Почти счастлива.

Я стала театральным критиком. Кем же еще?

Глава 1

НОМЕР СКРЫТ

Когда в сырую ноябрьскую среду зазвонил телефон, я принимала ванну. Я только что вернулась из банка, куда отнесла чек, полученный от душеприказчика своей тети, чтобы договориться о его обналичивании. Я не виделась с тетей много лет, почти не переписывалась с ней, за исключением обязательных открыток на день рождения и Рождество. Смерть пришла к ней пунктуально и без прелюдий, что, наверняка, вызвало бы ее одобрение. Хотя, возможно, она предпочла бы место более подходящее и уединенное, чем стоянка у Hannaford¹ поздним майским днем, как раз перед ужином. У тети случился сердечный приступ, ставший доказательством, что у нее вообще имелось сердце. Мне рассказали, что ее тело упало так, что сработала автомобильная сигнализация. Ей бы не понравился этот шум.

Я не ожидала наследства. Но так получилось, что она разделила свое состояние — небольшой сберегательный счет, пенсионные накопления и доходы от продажи дома — между мной и местной благотворительной организацией по защите дикой природы. Она всегда предпочитала людям птиц, и я не могу ее в этом винить. Хотя и не особо люблю птиц.

¹ Американская сеть супермаркетов.

Я не нуждалась в ее деньгах. Но принять их оказалось проще, чем заморачиваться с альтернативными вариантами. И так, я слушала с натянутой улыбкой, пока консультант банка, потный, розовощекий белый мужчина в полосатом галстуке, который, я готова была поклясться на Библии, был на застёжке, вещал мне монотонным голосом, напоминающим звук протекающего крана, о средствах, облигациях и депозитных сертификатах.

— Давайте сделаем то, что наиболее безопасно, — говорю я наконец. Потому что это было не то, что он хотел услышать. И потому что в некоторых вещах я предпочитаю безопасность.

Моя тетя, несмотря на то, что находилась далеко — она жила в Нью-Гэмпшире, что для Нью-Йорка почти то же самое, что и Луна, — была последним человеком в моем мире, который знал мою мать, и предпоследним, который знал меня прежнюю. Я могла бы воспринять ее смерть как возможность полноценно войти в ту жизнь, которую создала для себя, или вступить в какую-то новую, *большую*, теперь свободную от бремени. Наконец-то жить полноценно. И какая-то часть меня — тоскующая, все еще дикая — должно быть, этого хотела. Тем не менее, получив известие о ее кончине, я продолжила ходить по своим обычным маршрутам, в разные театры, затем обратно в свою квартиру и время от времени в тускло освещенный бар, чтобы разнообразить окружение. Также душеприказчик прислал мне два пожелтевших альбома, в которых на фото были изображены мои тетя и мама в детстве, подростками и молодыми женщинами — длинноногими, веснушчатыми, живыми. Я пролистала их один раз, а затем сунула на самую высокую полку шкафа, где они и остались.

Если бы я была из тех людей, которые позволяют себе многое в эмоциональном плане — во всяком случае, в дневное время, — я бы, наверное, чувствовала себя оди-

ЗДЕСЬ, В ТЕМНОТЕ

нокой, осиротевшей, неприкаянной. Вместо этого я сосредоточилась на страницах блокнота и на экране ноутбука, как никогда раньше, я писала и переписывала до тех пор, пока каждый абзац не засверкал ярко, словно бриллиант, и стал в два раза более острым, правда лишь немного острее обычного. Это проклятие и благословение инстинкта критика, неудержимое стремление донести правду о произведении искусства, независимо от того, кого эта правда может оскорбить. Они пригласили меня. Они нуждались в критике. Им надлежало быть лучше, мощнее, правдоподобнее. Они не справились. И вот я здесь, чтобы сказать им об этом, в надежде заполучить должность главного критика журнала с помощью колкостей и порицания.

Вакансия открыта вот уже два месяца, с тех пор как Криспин «Криспи» Холт, отпрыск богатой бостонской семьи, сбежал из Принстона, как только впервые попробовал Живой Театр¹ (и немного чрезвычайно качественной кислоты), писавший для журнала на протяжении десятилетий, наконец объявил о завершении карьеры. Ходят слухи, что он отправил свое наследство в какой-то карибский офшор, где теперь мог наслаждаться воспоминаниями и случайными связями в домике в тропическом раю. Я не могу подтвердить этот слух. Криспи не обратил на меня внимания, поскольку я женщина, не имеющая диапазона в четыре октавы. Но для Роджера, моего редактора, я своего рода протезе, местная девушка, которая сделала что-то не просто хорошо, а отлично. Я была уверена, что он сразу же возьмет меня на работу. Однако он чередует мои колонки с колонками другого младшего критика, Калеба Джонса. У Калеба свежий диплом магистра драматургии, улыбка, от которой остаются шрамы на сетчатке, и понимание высо-

¹ Старейший экспериментальный театр в США.

кого, как у салата. А вот у меня оно есть. И еще бойкий, колючий стиль. Роджер осознает. Когда-нибудь.

Этим утром консультант, в конце концов, вручил мне стопку бумаг, и я поставила свои инициалы и подпись, затем вернула ему ручку (дома у меня есть ручки получше), вышла на тротуар и поднялась на пять лестничных пролетов в свою квартиру. Я налила себе выпить, потому что моя тетья не одобряла алкоголь и потому что в последнее время я стала пить больше — мне приходится, таблетки уже не действуют так, как раньше, — приняла очень горячую ванну, чтобы почувствовать что-то или ничего, или и то и другое сразу, запрокидывая голову, пока не погрузилась в воду по самые уши, и город стал тихим и отдаленным.

Но зазвучал звонок сотового телефона — пронзительный рингтон по умолчанию, который я так и не удосужилась изменить. Он вскоре смолк, затем зазвучал снова, долетая даже сюда. Мошенники редко звонят дважды. Я предположила, что это может быть Роджер, которому я понадобилась для окончательного обсуждения какого-то вопроса или доработки демонстрационной копии. Надо было ответить.

Капли скатывались по кафелю, пока я стояла на дрожащих ногах, прижимаясь к стене, стряхивая красно-черные пятна перед глазами, в ожидании, когда мое кровяное давление выровняется.

Завернувшись в тонкое полотенце, я направляюсь в гостиную — я живу в студии, так что, по правде говоря, это единственная комната — и лезу в сумку за телефоном. Я пропустила два звонка из журнала. Из главного офиса, не от Роджера. Я набираю номер, отвечает Эстебан, наш секретарь.

— Это Вивиан, — представляюсь я, понижая голос до готического. — Ты звонил?

— Красавица, — щебечет он. — Ты где?

ЗДЕСЬ, В ТЕМНОТЕ

— На Десятой Восточной. Брожу по прихожей в своем атласном пеньюаре, оплакивая участь женщин, лишившихся тебя.

Он смеется так, что хрусталь разлетается вдребезги. Он знает, что в моей квартире недостаточно места для прихожей. Он также знает, что у меня нет ни единого пеньюара.

— Бедная бибита, — говорит он. — Ну, тогда вот тебе утешительный приз. Какой-то мужчина с сексуальным голосом продолжает тебе названивать. О-очень сексуальным голосом.

— Ты же не дал ему этот номер? — интересуюсь я, плотнее заворачиваясь в полотенце.

— Э-э, бибита, пожалуйста! Мне кажется, я заслужил больше доверия. Хотел дать ему адрес твоей электронной почты, но он говорит, что ему необходимо пообщаться лично.

— Десять против одного, что он публицист.

— Сексуальный публицист.

— Абсурд. Невозможно. Противоречит всем законам природы.

— Может быть, бибита. В любом случае, теперь он твоя проблема.

Эстебан сообщает мне имя — Дэвид Адлер, номер телефона, который я угрюмо записываю в подвернувшийся под руку блокнот, а мои мокрые волосы заливают страницу каплями, словно слезами. Я улыбаюсь, кидаю «спасибо» и «до скорого» и только потом позволяю своему лицу расслабиться. Порывшись в куче одежды, опускаюсь в кресло, удерживая ноутбук на коленях. Ищу в своей электронной почте «Дэвид Адлер», затем повторяю поиск в папке «корзина». Без совпадений. Это означало, что он не связан ни с одной недавней пьесой или мюзиклом. По крайней мере, с теми, о которых я слышала. Должно быть, неопытный режиссер или начинающий публицист, пытаю-

щийся натравить меня на какой-то спектакль, находящийся так далеко от Бродвея, что до него даже не доехать на метро. Такое меня не интересует. Нельзя посмотреть много плохих постановок и остаться в живых.

И все же я думаю о том, что продолжает твердить Роджер. Что он предпочел бы больше сочувствия в моих рецензиях или хотя бы более теплые отношения с художественным сообществом. Он называет это операцией «Давай не будем такой упрямой сукой, ладно, малыш?». Роджер прошел тренинг по чувствительности. Обучение не дало результатов.

Тепло не моя сильная сторона. Что касается богатой палитры человеческого опыта, я нахожусь в серой шкале. Аристотель говорил, что драма — это имитация действия. Я, по необходимости, имитирую саму себя — острая улыбка, едкая шутка, бездна там, где должна быть женщина. Десять с лишним лет я позволяла себе только одну, второстепенную роль: Вивиан Пэрри, гроза актеров и городская девчонка. Я не особо хорошо играю.

Кроме тех случаев, когда я посещаю театр, хороший театр. Когда я нахожусь в темноте, в безопасном отдалении от повседневной жизни, я чувствую все это — ярость, радость, удивление. Пока в зале не зажжется свет и все снова не разрушится, я живу. Я снова узнаю себя. Мне часто снится, что я брожу по улицам Таймс-сквер, обычно под дождем, потеряв адрес театра, который должна посетить. Продолжаю искать, иду все быстрее и быстрее, когда время близится к началу представления, промокнув насквозь, поднимаюсь в один квартал и спускаюсь в следующий, просто ищущая и ищущая, без выхода, без конца.

Профессия театрального критика не является особенно нужной и почетной. Вот мнение П.Г. Вудхауза о рецензентах: «Их никто не любит, и это справедливо, потому что они — создания ночи». Но это единственное, в чем я хороша.